

ДВОЙНАЯ РАДУГА

Сборник рассказов и повестей о жизни настоящей

Москва
Издательство АСТ

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6
Д24

Серийное оформление: *Марина Акинина*
В оформлении обложки использована иллюстрация
Александра Заварина

Д24 **Двойная радуга**:сборник рассказов / сост. Наринэ Абга-
рян.— Москва: Издательство ACT, 2015.— 346, [2]с.

ISBN 978-5-17-091590-3

Перед вами сборник хорошей прозы.

Разной по звучанию — искренней, грустной, ироничной, злой, берущей за душу. Главное, что объединяет рассказы и повести «Двойной радуги», — настоящесть, та, которую не наиграть, не вымучить, не придумать по-нарошку.

Мы составили сборник, который можно читать и перечитывать. С которым приятно и уютно быть рядом. С которым, переезжая из квартиры в квартиру, из города в город, из страны в страну, не захочется расставаться.

Приятного вам чтения.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос = Рус)6

Подписано в печать 20.04.15.

Формат 84 x 108 1/32 Усл. печ. л. 18,48.

Тираж Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 1: 953000 — книги, брошюры

© Авторы, тексты, 2012
© Наринэ Абгарян, составление, 2015
© Александр Заварин, иллюстрация, 2014
© ООО «Издательство ACT», 2015

От составителя

На шестнадцатилетие я получила от мамы прекрасный подарок — сборник рассказов и повестей писательниц ГДР. Сборник назывался «Неожиданный визит». Он действительно обернулся для меня неожиданным визитером, потому что раскрыл чудесный мир небольшой в объеме, абсолютно сильной, реалистичной, настоящей прозы. В мои шестнадцать я опрометчиво считала, что чем больше произведение, тем оно серьезней и ценней. Рассказ Шарлотты Воргицки «Ева» — одна огромная жизнь, описанная на восьми книжных страницах, — доказал мне неоспоримую истину: талантливым может быть любое произведение. Независимо от количества печатных знаков и страниц.

Мне давно уже не шестнадцать, я живу в другом городе, далеко от мамы. Переезд помню особенно отчетливо — волокла на себе неподъемный чемодан, набитый книгами. На самом верху, перетянутый

крест-накрест тугими чемоданными лямками, лежал «Неожиданный визит». Книга, которой я очень дорожу, которую до сих пор с удовольствием перечитываю.

Мечта о создании подобного сборника современной прозы, о книге, с которой не захочется расставаться, родилась у меня давно. И наконец она воплотилась в жизнь.

Перед вами «Двойная радуга». Некоторые из представленных в сборнике авторов издаются уже порядочное время, другие пришли в литературу совсем недавно. Но объединяет их, безусловно, одно — благословенное умение связывать слова в живую мысль.

Наринэ Абгарян



Анна Антоновская
Ромеро мертв!

1

К приезду полиции я — труп, криво поставленный на попа.

Ночная рубаха и бывший финский плащ плохо согревают мое пупырчатое тело. Ангинный февральский сквозняк слоняется по пятнадцатому этажу. Кудлатой башкой я упираюсь в казенно-коричневую дверь с табличкой «15-L» и медленно думаю о том, что сейчас пять тридцать утра, а я легла в два, и глаза мои скрипят при моргании от недосыпа, и что мне вставать в шесть сорок пять, а этот негодяй, этот мой сосед Гоги, уехал неизвестно куда и оставил взвешенным свой чертов будильник! И теперь Гогин будильник с упорством деревенского петуха трезвонит вот уже четвертый рассвет ровно с пяти до шести, будь проклят его, будильника, создатель, как и создатель самого Гоги!

- И чего вы, мэм, собственно, хотите?
- Предлагаю вам взломать Гогину дверь и выключить будильник!

У полицейских парней, измученных ночным дежурством, нет сил смеяться. Они молча вызывают лифт и уезжают от меня куда-то туда — вниз и прочь.

Я бреду к себе, в конуру «14-L», ложусь в серую утреннюю постель и смиленно жду, когда у Гогиного петуха сорвется голос. Гулкая пустотелая батарея, прочно соединяющая меня с Гогиной спальней, зычно пикает еще минут двадцать и — замолкает, бла-женно журча. Наступает очередной день моей американской жизни.

Стакан кефира, скорый душ, отжатые полотенцем мокрые волосы, брелок от машины в кулаке — я приплясываю у медлительного лифта и проклинаю тихоходных старичков, которыми заселен этот изношенный за полвека американский дом. Старички выползают под утреннее солнце кряхтя и жмурясь; у них — подробное угасание, у них — детальный закат жизни, а у меня, простите, пятиминутное опоздание равно расстрелу. У меня — тридцать молодых аборигенов ждут русскую пианистку, задравши стройные ноги над балетным станком. У меня — утренние классы, у меня — ядовитый Ларри Бриллиантовые Ушки моргает неброским макияжем: «Ах, придется начать без музыки, ах, деточки, я посчитаю вам, ах... раз-два-три... о! о! о, маэстро, мы тут начали без вас-с!»

Для каких таких тайных вселенских целей был создан ядовитый Ларри? Какая такая прореха в мировой гармонии залатана его ослепительными серь-

гастыми ушками? Случится ли сегодня пробка на дороге или проскочу-успею-вбегу-открою рояль? Нервная, мокрая — впадаю в лифт. Лифт благоухает Яшкой.

Яшка-придурок живет вечно, поскольку много гуляет. В неизменные свои семь пятнадцать он тычет в меня кривым артритным пальцем:

— Ты, ты! Как тебя зовут, а? Шо всегда молчите? Ты меня не любишь! Не любишь! Пойдем погуляем! Ну, ну куда бежишь? Вы знаете, что я с Одессы, вы когда приехали, не помню тебя, погоди, не беги...

Ежеутренне я истязаю Яшку жестоким молчанием. Яшка — это плохой знак, Яшка — это неутомимая черная кошка поперек дороги, это трудолюбивая баба с пустым ведром: тревожное предзнаменование. День еще не прозевался, а Яшка уже на ногах — недобрый глаз промыт, желтая седина примиата, папироска зажжена, одесское горло смочено.

— Ты, ты знаешь, я приехал тридцать лет как, я тебя не помню. Ты была? Вы разве тут были? Тебя не было. Погоди, не беги!

Яшку надо перетерпеть.

— Яков, не курите завтра в лифте, а? — откликаюсь я на Яшкины фокусы.— Противно дышать!

— Ты, ты говоришь? Шо ты говоришь? Шо ты говорришь? Шо ты говорррришь?.. Это не я куррил — это поляк!

Древний поляк Ваца, обернутый пледом, сидит в качалке на крыльце и действительно курит восхитительно пахучий табак. Весь в ароматах далеких островов, коричневый от копоти, язвенно худой, Ваца выходит к своей качалке с первыми лучами, повинуясь давно устаревшему расписанию концентра-

ционного лагеря. Увидев меня (я притормаживаю), Ваца обнимает курительную трубку сухой ладонью, затягивается и, обволакивая свое приветствие струей ванильного дыма, тихо произносит:

— Дзень добры, пани!

Яшка-придурок косит на Вацу умный иудейский глаз. Бегу к машине. Где-то на перегоне «дом — работа» надо успеть купить чашку кофе — главную, завершающую, третью после Яшки и Ваци составляющую моего суетливого утра. Маленькое горькое счастье: без сахара, с двойными сливками.

«Само присутствие поляка Ваци на крыльце моего дома оправдывает эту страну», — иногда я позволяю себе неуклюжие высокопарности. Не вслух.

Веселясь, паркуюсь. Хорошее настроение приходит вместе с пошлым каламбуром: «Сегодня — Брамс, на мне — мужской состав!» Я люблю мужской состав. Мужской состав — это тенора и басы, это лучшая часть студенческого хора; перед мужским составом я должна гарцевать у рояля с утроенной силой, если сила вообще применима к гарцеванию. Таков хитрый замысел приглашенного английского дирижера. («Энни, врачующий эффект контраста и половой гравитации: вот верный способ быстренько разучить нотки!») С полудня до трех дирижер обслуживает дам («Ах, девочки, Дэвид — настоящий британец!» — «Он — душка! Обожаю!»), а я, простая невская корюшка, («Позвольте вам представить — Энни, наш аккомпаниатор, любите ее, бойтесь ее, Крис, рожи не строить!»), я снимаю пенки с мужских инстинктов, вбивая Брамсовы пассажи в молодеческие рты («О, Энни, парни у ваших ног!» — «Мой

дорогой Крис, идите к черту со своими шутками!» — «Энни, я так взволнован!» — «Крис, вы бы лучше заглянули в Брамса...» — «В Брамса? О, вам ли не знать, что мы с Брамсом — натуралы! Такое несчастье! Такое несчастье!» — «Ребятки, давайте-ка разогреемся, распоеемся, начнем, ну, мальчики, встали, встали...» — «Энни, дайте нам минуту-другую! К чему спешить? Хотя лично я уже нагрелся и встал. Эй, Стивен, дружище, ты там как — встал?»).

Обкорнанный до тенорово-басовых низов Брамс жалок. Сегодня у Брамса дела идут туго. И это не считая печального обстоятельства моей к Брамсу тайной недоброжелательности, которая, однако, никак не помешает парням голосить Брамсовы рулады в великий день концерта, в апреле, на нью-йоркской сцене, с последующими остановками в Праге, Будапеште и так далее, по ходу поезда. Крис, не выучите партию — не поедете на гастроли, нет, не надейтесь, на гастролях я еще кусачее, а ну-ка, тенора, повторяем с пятой цифры, сразу после кульминации, со слов «моя любовь!», только не рвите связки, в конце концов, какая, в самом деле, любовь — одно разочарование, как всегда у Брамса, чтоб вы знали, олухи! Между прочим, испуганная Клара Шуман провела два года в ожидании упокоения своего безумного Роберта (да, Стивен, — Шумана, Шумана!), орошая виноватыми слезами хрустящие письма влюбленного Брамса; два года стыдилась, мечтая о непозволительном, разглядывая вянущее свое лицо и разглаживая морщины у глаз; два года сочиняла оправдания себе и пылкому Иоганнесу — другу, прекрасному другу, любезному моему, дорогому моему Иоганнесу, Ваши слова так тронули меня, да, я

верю Вам, верю Вам, ну и так далее, до слов «моя любовь», пятая цифра, Крис, что тут смешного? Попытайтесь глубже поня... а он? — он писал письма: «Фрау Шуман (Клара, Клара, любимая моя Клара!), все мысли мои о Вас и о Роберте, жду новостей, припадаю к ногам Вашим, скорблю и надеюсь, Ваш Иоганнес», — «Иоганнес, могут ли быть хорошие новости в моем положении, полном трагизма? Только Вы, сердечный друг, не оставляете меня наедине с моим горем», о'кей, приблизительно так, надеюсь, вы понимаете, что все это отсебятина и я лишь развлекаю вас, балбесов, но в сущности, если серьезно, вся жизнь Брамса есть бесконечное самонаказание за страх, случившийся по молодости, заметьте, в вашем возрасте, в двадцать три, когда человек имеет право на первые робкие пробы сильных чувств и, кстати, имеет право рассчитывать на снисхождение; я не оправдываю, я лишь пытаюсь объяснить странную Брамсову... не знаю... сухость, которую все мы чувствуем, разве нет? Нет, Крис, вам снисхождения не видать, ха-ха... потом? — потом что-то вроде: «Дорогой Иоганнес, сообщаю Вам, что Господь забрал к себе душу Роберта, и, признаюсь, хоть это так страшно, так греховно, но я чувствую странное облегчение, ведь жизнь моя благодаря Вам начинается заново, я наконец свободна перед Всевышним; ни дети, ни друзья не осудят нас, Иоганнес, Вы слышите меня? Слышите меня? Слышите меня? Слышите?» — абонент недоступен или находится вне зоны приема сигнала, сбежал, скрылся, исчез. «Са-всем», — как говорит мой сосед.

...а вот и он, посмотрите-ка на него — вернулся!
— Да знаете ли вы, что ваш будильник?! Разве так можно?! Уехать и оставить будильник включе...
— Слушайте, ну забыл, да.

Немею. Открытка на имя Цили Циммерман выпадает из почтового ящика вместе с прочей почтой шелухой. Писем от Брамса я не получаю. Зато регулярно получаю записки от людей, остро нуждающихся в Цецилии Циммерман, проживающей, судя по всему, по моему адресу без моего ведома: «Дорогую нашу Цилю приглашаем в синагогу на праздник Суккот!», «Мадам Циммерман, не пропустите выставку кактусов в нашем ботаническом саду! Члены проходят со скидкой!», «Циля, милая, ждем тебя на похоронах! Искренне твои».

Монолог о сбежавшем Брамсе вырывает на очередную, бесчисленную уже, каденцию. При полном отсутствии аудитории, я, усыпанная пижамным горошком, договариваю упущеные детали чужого жизнеописания. Историю невеселой вдовы и обезумевшего от страха Брамса парни примерили на себя. И вслед за Брамсом сбежали каждый от своей Клары — табуном, стаей, косяком. Тридцать семь раз сегодня был оправдан старина Брамс. «Что тут говорить,— почесался Крис,— споем и забудем! Но если хотите, Энни, на словах «моя любовь», пятая цифра, я буду смотреть укоризненно!» «Крис, циничнее вас — только пьяный патологоанатом!»

Они правы сто раз. Все эти приыхания никому не нужны. Горе от ума. Пышное меню для голодного неврастеника. Выучи нотки и заткнись. В смысле играй.

Прислушиваюсь к неровному цоканью женских каблуков по Гогиному паркету. Сегодня у Гоги праздник: сегодня у Гоги цокает дама. Прихорашивается? сервирует? сметает окурки? расправляет лежалые заломы на чистых простынях? танцует, обняв Гогину шею, старательно прильнув, скрестив запястья, исподтишка любуясь перламутровым маникюром, таким нарядным на фоне вороной Гогиной шевелюры?

В предсонном мареве валяюсь под звуками Гогиной жизни, лениво моргаю. Отбракованное бревно. Лишний прибор на столе. Букет, забытый в кухонной мойке. Предвкушаю аттракцион: скрипы, вздохи, даже всхлипы, если повезет. Любовные утехи соседей всегда комичны, с какой стороны их ни подслушивай. Тем более смешон этот растяпа Гоги, холостяцкой жизни которого я тактично внимаю уже который месяц, и вот глядите ж, зацокала, наконец, занялась веселым огоньком, заискрилась! Стыну от скуки и усталости («Ну что они там делают, коли больше не цокают? — едят? разговаривают? целуются?»). Снежная крупа легонько потрескивает о карниз. («Надо же, вроде бы снег не обещали! Обещали потепление, солнце, скорую весну, безбрежное счастье и вечную удачу».)

И тут самым непредсказуемым образом Гогино свидание перерастает в пламенный скандал. Отчаянно кричат оба, но дама кричит увереннее, длинными очередями, мощными залпами, с чувством фронтальной непробиваемой правоты — и цокает, цокает, цокает, цокает. («А туфли так и не сняла».) Для качественной дуэли достаточно, как известно, одного смертельного выстрела. Замираю в ожидании и, дождавшись, вспархиваю пугливой вороной с

дивана: хлопает входная дверь, всаживая килограммовую пулю в сердце поверженного Гоги. («Мертвое поле Гогиных надежд заметает февральский снег. <пауза> Радиоспектакль по пьесе «Убей недотепу!» окончен. Идите, дорогие товарищи, работать».) Потягиваясь, шаркаю к инструменту. Страсти страстями, но у меня, простите, двести страниц нотного текста. Впиваюсь оstriженными ногтями в печеньку особо трудного пассажа. Все, я занимаюсь.

Часа два мощно играю, войдя в раж; руки разогреты до пластилиновой мягкости, дело идет споро. Раскрасневшаяся, воодушевленная, прерываюсь, уловив посторонний звук в журчании музыкальных каскадов. Сосед Гоги, рассвирепев, стучит чем-то железным по батарее. Выясняя причины соседского гнева, обнаруживаю досадную оплошность: я, видите ли, воткнула, надела, но («ой!») не включила наушники. Электрическое мое пианино орет во всю свою пианинную глотку. («Отчего меня не придушили раньше?») Поджимаю хвост. Мне стыдно. Колотить по клавишам в полную силу ночью! Безобразие и разгильдяйство. Затихаю.

2

— Ты! Ты знаешь? Ты видела, поляка запретили!
Гнида написала на поляка, ты видела гниду?

— Яков, ну что значит запретили? Какая гнида?

— Поляк курит, вы видели, поляк курит, а гнида какая-то — донос! Всё, поляку всё. Нельзя курить. Я сам тайно, ты же знаешь, всегда тайно, в лифте маленько, потом на улице только, ты, ты видела? А поляк на крыльце. Стол его этот унесли. Теперь стоит там.

— Стул? В смысле кресло?

— Ты слушай! Поляк стоит. Без стула. Пойдем ко мне, возьмешь стул. Мне не нужно. Для поляка возьмешь. Ты сама. Повезешь ему. Тебя ждал, с утра едете, ждал тут!

Вместо долгих объяснений направляюсь в Яшкину квартиру за благотворительным стулом. Итак, Ваца вышел с пледом и трубкой на крыльце и обнаружил пустоту на месте родной качалки. Плюс объявление о строгом наказании за курение в общественных местах, коим (зачеркнуто) коей является любая прилегающая теретория (зачеркнуто) территории (одно «р» вымарано), близ проживания которых категорически (выделено жирным) сидеть нельзя которые курят особенно на крыльце (воскл. знак).

Яшка выволакивает лучший свой стул (правая ножка забинтована). Грязь и смрад Яшкиной квартиры ошеломляют. Тараканий оазис. Клоповый курорт. Законсервированное стойбище пращура (предпол. средний палеолит).

— Яков, у вас тут змеи не ползают?

— Ты это... Поляку стул снеси. Ты, ты ж меня не любишь — смотри! Поляку стул не жалко!

Дым Вациного табака встречает нас за семь шагов до самого Ваци. Поляк смирно стоит у входа, еще более худой, чем я его, вечно сидящего, себе представляя. Грозная бумаженция-указка, косо приляпанные, полощется на ветру нижней кромкой.

Исчезновение качалки изумило Вацу, но не нарушило привычного хода событий: вот трубка, вот Яшка, вот пани со стулом.

— Ваца, возьмите стул. Это от Якова.

— Дзень добры, пани,— дымно шелестит Ваца. Английский язык неведом Ваце как явление. Биография Ваци не вмешает более никаких новшеств, тем более чужих глаголов. Яшка-придурок, хитрая рожа, вышагивает торжественно, полонезно: «Ты, Ваца, ты знаешь шо? Сиди тут!» — многозначительный, как иероглиф, довольный собой, как маститый трагик после удачной премьеры. Мое присутствие окрыляет Яшку. Забинтованный стул принимает в объятия костлявую Вацину попу. Умиленно подмигиваю Яшке. Хороши все трое. Боевой отряд старичков-курильщиков и русская пианистка. Враг умрет от смеха.

— Ваца, не переживайте, найдем вашу качалку! — говорю я.

— Дзень добры, пани,— невозмутимо отвечает Ваца.

«Само наличие гниды, что настучала на Вацу, дискредитирует эту страну, обалдевшую от законо-послушания», — иногда я позволяю себе приукрасить неуклюжие высокопарности эдаким флером разочарования. Нет, не вслух.

Выруливаю. Светофор тенькает метрономом: собака-поводырь, послушная метроному, ведет слепого. Слепой этот — мой сосед снизу. Он редко показывается на свет. На свету и хлопотно, и опасно. Обычно мы встречаемся поздними вечерами, не преднамеренно, случайно, на пути к дешевой китайской закусочной, что радушно и спасительно открыта круглые сутки круглый год. Иногда настигаю слепого и его собаку уже у лифта. Кабина наполняется ароматами дежурных китайских яств; испытывая странную неловкость, вжимаюсь в угол,